



# РУССКИЙ КРЕСТ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

## 1

Глобальность задачи, поставленной Кузнецовым, вероятно, не может иметь однозначного решения, ибо поэт взялся стихом, организованным в поэмы, осмыслить путь Христа, истолковать самое значимое события в истории человечества.

Само пребывание сознания в этом силовом поле есть область риска: можно уйти так далеко, что возвращение станет условным.

Тем не менее, толкование Юрием Кузнецовым величия огненных столпов событийной силы изначально окрашено собственным участием в грандиозной мистерии, в чём нет ничего предосудительного: каждый задумывающийся в определённой степени становится частью вселенского явления и вселенской катастрофы распятия.

*Памятью детства навеяна эта поэма.  
Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!  
Знаменьем крестным окстил я бумагу. Пора!  
Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!*

Нечистых, разумеется, много: о! в нашей жизни они повсюду: хоть в бизнесе, жадно готовом прибрать к рукам всё, не должное ему принадлежать, хоть в поэзии, где количество пустых экспериментаторов и шутов гороховых, объявленных маяками, чрезмерно.

Прозрачная словесная ткань поэм «Путь Христа», «Сошествие в ад» и неоконченной поэмы «Рай» словно наброшена на события двухтысячелетней давности, восстанавливаемые кропотливо и с тою любовью, что не удаётся усомниться: для поэта путь Христа — тема тем.

Мы словно вступаем с поэтом в недра Вифлеемские, чтобы кожей сердца — или сердцевиной души — почувствовать огонь и весть времён:

*Час Назарета склонился в почтенной печали.  
Помер старейшина — плотнику гроб заказали.  
Только Иосиф лесину во двор заволок,  
Ангел явился и молвил: — Исход недалёк! —  
Плотник с бревном, дева с милостью — так и бежали.  
Груди Марии, как в мареве горы, дрожали.  
И наконец под звезду Вифлеема вошли,  
Но в Вифлееме приюта нигде не нашли.*

Кузнецов сознательно избегает сложной метафорики, следя за течением прозрачности повествовательного стиха; он уходит от ярких эпитетов, чтобы не застили сути, и пользуется только простыми, как работа плотника, рифмами.

Он концентрируется на главном: духовной силе Христа.

И точно провидит: для нас, сегодняшних, важно то, что мы можем применить к себе: из арсенала Христовых речений и притч, из образов, данных его жизнью.

Вместе с тем понятно — это очень русский Христос, словно путь его совершался в пределах родной нам, мучительно жившей все века земли, и колыбельная, какую напевает мать, именно от русских колыбельных над зыбкой младенца:

*Солнце село за горою,  
Мгла объяла всё кругом.  
Спи спокойно. Бог с тобою.  
Не тревожься ни о ком.  
Я о вере, о надежде,  
О любви тебе спою.  
Солнце встанет, как и прежде.  
Баю-баюшки-баю.*

И чудеса, происходящие внутри стиха, тоже слишком русские, будь то Египет, или странный странник:

*Ратные люди играют огнём и мечом.  
Мирное детство играет весёлым мячом.  
Дети мячом запустили в Христово оконце,  
Он поглядел и увидел, что мяч — это солнце.*

Тайну Христа не разгадать стихом, не просветить лучами иной мудрости; евангельские тексты темны и подлежат многим толкованиям, часто запутывающим суть корнями ложных посылов. Сердцевинный же образ Христа сконцентрирован в сердце поэта, и едва ли можно утверждать, что в русских сердцах он особенно горяч; но дерзновение Юрия Кузнецова, идущее и от древнего, не ветшающего «Слова...», и от былин-старин, и от старообрядческой традиции, завораживает. Как удивляет и повествовательная стройность поэм — без провисаний, лакун, словесных срывов и оскользов. Думается, что справедливая оценка поэм — дело далёкого будущего, которое должно отличаться от сегодняшнего мелкого, иссутившегося времени, где Христос и деньги-комфорт-карьера давно — искусно и искусственно — подвергнуты дьявольской рокировке...

## 2

Юрий Кузнецов рассматривал реальность через две призмы: лирического взрыва и метафизического осмысления. Его, криком рвущие пространство стихи об отце не исключают момента постижения всеобщей тайны: зачем всё так устроено?

*Что на могиле мне твоей сказать?  
Что не имел ты права умирать?  
Оставил нас одних на целом свете,  
Взгляни на мать — она сплошной рубец.  
Такую рану видит даже ветер,  
На эту боль нет старости, отец!*

И мать, обращённая в рубец боли, и боль, не имеющая возможности постареть, — реалии, учитывающая мощь которых чуть ли не от ветхозаветного словаря, как знать, может быть, и дали возможность существования мировой поэзии. Ярый крик, завершающий стихотворение, обрывается холодной пустотой. Но за нею вдруг метафизически мерцает: неправда! Именно отец принёс счастье — жить.

Поскольку жизнь есть столь щедрый дар, что оправдывает все лихолетья, муки, горести. И существование стихов, совершенно исполненных и вибрирующих многими смыслами, подтверждает это.

А вот отец — идущий через минное поле солдат; идущий, живой, целостный, не-вредимый, превращающийся в следующий миг в дым...

*Шёл отец, шёл отец неврeдим  
Через минное поле.  
Превратился в клубящийся дым —  
Ни могилы, ни боли.*

Вероятно, тема отцовства основополагающая в мире, без неё и мир бы не состоял, но многие завихрения боли и мысли, связанные с этой темой, делают её не столь простой и ясной, как хотелось бы...

Желание расшифровать свои корни равносильно попытке понять загадку отца.

Большие исторические катаклизмы превращают людей в заурядную плазму, оптом лишая их жизни; стихи Юрия Кузнецова о войне даны под острым углом осознания общей трагедии через частную боль.

А не было бы боли — не было бы и победы.

### 3

В начале первой части своей монолитной поэмы о Христе Кузнецов, декларируя: «Бездна прозрачна», определяет во многом сущность своего творческого метода: заглядыванье в бездну; прорыв в необычайное через волшебное собрание слов.

*Всё пошатнулось, а может, идёт напролом  
В рваном и вечном тумане меж злом и добром...*

Туман рван, а из прорех может выглянуть та или иная маска, неведомая сущность, но, если речь идёт о нечисти, то впечатанная в строки поэта, как в смолу, едва ли она когда высунет нос из них, и уж тем более не решится на кошмарные шалости.

Кузнецов творил свой сказ с самого начала поэтической биографии, понимая при этом, сколь опасна реальность познания, но и осознавая, что другой у нас нет:

*И улыбка познания играла  
На счастливом лице дурака.*

Так завершается «Атомная сказка», ибо любое проникновение внутрь запретного чревато (для поэта в том числе), ибо любой прорыв в запредельность двойственен: будучи ступенькой прогресса, он отбирает нечто важное, обедняя душу.

А поэзия может апеллировать только к душе, иные вспомогательные её возможности мало интересны.

Мелкость мухи предстаёт огромной, если учесть, как она способна задеть мистическую струну сознания? Или пространства?

*Смертный стон разбудил тишину —  
Это муха задела струну,  
Если верить досужему слуху.  
— Всё не то, — говорю, — и не так. —  
И поймал в молодецкий кулак  
Со двора залетевшую муху.*

О! муха в сознание разрастётся до символа, до существа, способного барахтаться во Млечном Пути, чья огромность коррелирует с его же таинственностью; и тайна творимого Кузнецовым сказа-мифа щедро проступит словами, никогда не раскрываясь до конца.

Концентрация смысла поэзии в трёх словах блестяще дана у Кузнецова:

*Серебристая трещина мысли.*



Ибо только подобная трещина может объяснять суть пространства и времени, насколько вообще уместны будут объяснения.

Каталог невероятного — вот как стоит обозначить сумму стихотворений и, тем более, поэм Кузнецова; каталог сложный, разветвлённый, рассчитанный скорее на потомков, чем на современников. Будучи снабжены всеми достоинствами, какими обладает поэзия, стихи его, переливаясь серебром и перлами мысли, выстраивают собственную систему, играющую то древнерусскими яхонтами, то новозаветным алмазным блеском. Они мощно вмещены в действительность, ныне столь равнодушную к поэзии вообще.

#### 4

Думается, Юрий Кузнецов одолел высочайший пик, создав свои евангельские поэмы, проследив путь Христа — вполне уже русского Христа — в дебрях дремучих лет: от корней жизненного плотского начала до финала, раскрытого в бесконечность и преображающего мир.

Поэмы — концентрация кристаллов его поэзии, но в них мерцают отдельные стихотворения, и всё это, суммируясь, выстраивается в грандиозные панорамы...

Так, в «Атомной сказке» тело лягушки, наименованное «царским», подвергнутое пытке-эксперименту, — что это как не живая укоризна многим нелепицам человеческого пути? Дескать, можно было иначе, без глупой «улыбки познания» на «счастливом лице дурака».

А вот муха, врывающаяся в реальность — или взрывающая её. Мелочь бытия превращается в грандиозный символ общей соприкосновенности всего со всем — чуду, если угодно.

*Я барахталась в Млечном Пути,  
Зависала в окольной сети,  
Я сновала по нимбу святого,  
Я по спящей царевне ползла*

*И из раны славянской пила...*

— Повтори, — говорю, — это слово!

Не об этой ли мере всеобщности писал старый русский философ Фёдоров?

Вот так через малое просвечивает великое, неистовое, соединяющее противоречивые данности.

И малость, увеличенная поэтом до глобальных обобщений, причудливо играет смыслами, поражая читательское воображение.

О, в стихах Кузнецова много величественного (часто рассмотренного через просто-ту момента): тут битвы звёзд и неизвестные боги, тут клубящийся поток необычных образов, а если мелькнёт ретивая нечисть, то будет плотно впечатана в смолу строки, окажется заговорённой, не вырвется...

*Битва звёзд, поединок теней  
В голубых океанских глубинах.  
Наливаются кровью моей  
Вечный снег и следы на вершинах.  
Но предчувствием древней беды  
Я ни с кем не могу поделиться.  
На мои и чужие следы  
Опадают зелёные листья.*

Листья лет мерцают в глубине таинственного поэтического повествования, слагающегося в современный эпос.

Лаборатория Юрия Кузнецова совмещалась с чудесной кузницей, из которой выходили изделия стихов, облучающие пространство тайной и величием поэтического дела.

## 5

Метафизический пейзаж Юрия Кузнецова обозначился альфой его пути: уже в «Атомной сказке» речь шла — через конкретику — в метафизическую даль. Смысловый корень стихотворения: гордыня человека, решившего осваивать внешнее без развития сложных внутренних миров, заложенных в душевном устройстве; потому-то — «И улыбка познания играла на счастливом лице дурака».

Пик метафизического пейзажа начертан был Кузнецовым в своде поэм о Христе, где через условный план Иудеи проступало русское восприятие Христова космоса.

Будто шёл Христос босым по снегу, будто сгибался под тяжестью креста, сколоченного из берёзовых досок, и путь этот обрывался возле недостижимого мерцания вечно не всплывающего Китежа.

Этот метафизический пейзаж, играя интеллектуальными и образными красками, распределялся по истории и современности, имея такие характеристики высот, какие требуют духовной работы будущих поколений.

Эпохи требовали высказывания: они сами выбирали тех, кто будет говорить за них: используя различные творческие возможности человека: и, конечно, поэтические были одними из главных.

Именно были — поскольку в последние десятилетия: в мире раньше, в России чуть позже, люди практически отказались от восприятия поэтического слова, низведя значение его к различным вариантам игр...

Юрий Кузнецов высказывался за несколько эпох: своеобразно совмещая и комбинируя их в своей лирике и в монументальных поэмах о Христе, где сквозь обстановку иудейской древности точно прорастают миры сегодняшнего дня. Словесные орнаменты Кузнецова, легли на бумагу, чтобы расти из неё, как из своеобразной почвы, к духовным небесам, сияя многими драгоценностями...

Были среди них камни мистического окраса, чьи грани-строки впиваются в сознание тайнами, не подлежащими разгадке; были стакнутые с юмором варианты осмысления человеческой гордыни, как в ранней «Атомной сказке», были «Откровения обывателя», когда низина противопоставлялась высоте...

Эпоха шумела, рвалась в космос, смущала массой технических открытий; эпоха, в которую вдруг прорывались черти и невиданные чудища, впечатанные, как в смолу, в строфы поэта, чтобы унялся соблазн их баламутить души людские.

Возникало «Молчание Пифагора», свидетельствующее о силе духовного взора поэта:

*Он жил и ничего не мог забыть,  
Он камень пронизал духовным зреньем.  
Ему случалось человеком быть,  
И божеством, и зверем, и растеньем.*

Лирика всегда соплеталась у Кузнецова с высотами метафизики, и огонь, бивший напряжённо из его стихов, должен был опалить последующие поколения — новыми смыслами, новыми прочтениями старой яви. Пока этого не случилось, в чём не вина поэта, а беда наставшей мусорной эпохи...

